

25 ИЮЛЬ 1982

ОН БЫЛ вашим сверстником. Добавочный импульс к тому, чтобы заинтересоваться им. Мы говорим об авторе «Героя нашего времени».

Однажды, будучи совсем юным, повинуюсь неясному порыву, он составил завещание: «Похороните мои кости под этой сухой яблоней; положите камень; и — пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»

Имени оказалось довольно... Как-то летом, в Тарханах, я читала рукопись, которая называлась «Бэла. Из записок Печорина».

«Бэла скончалась, — читала я. — Я знал, что рано или поздно разрыв между нами произойдет. Но ожидаемое приходит неожиданно. Я пишу эти строки о смерти Бэлы. Мой почерк не изменился, он такой же, как на казенных отчетах, как на предыдущих страницах. Движениями руки перо не выразило боли души моей...»

Повести такой у Лермонтова нет.

Ее написала девочка, учившаяся тогда в десятом классе в городе Чернышкове Калининградской области. На родине поэта шли Всероссийские Лермонтовские чтения школьников. На конкурсе сочинений возникло это неожиданное предложение: «продолжить» Лермонтова, представить себе, что...

Съехались старшеклассники из семидесяти городов. Стояла жаркая июньская погода, манила к себе прохлада леса, весело блестя речка, но это как будто никого не занимало. Юные исследователи творчества поэта выступали с докладами, на секциях шли серьезные дискуссии. Конечно, они были обыкновенные мальчишки и девочки. Раннее взросление души обратило их взоры к самому юному гению России, сделало их любовь к Лермонтову действенной, вызвавшей ответный жар.

— Тот, кто умеет любить талант, уже талантлив, — сказал Андроников, бывший там же. И еще: — Мне легко представить Лермонтова среди вас.

В самом деле, проникновение, необходимое, по-видимому, каждому из них, в то, что было Лермонтов, снимало напластования десятилетий, вновь делало живой уже отжитую жизнь, живыми образы, рожденные душой, явно близкой...

В восемнадцать лет он писал в письме к М. А. Лопухиной:

«Назвать вам всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием... Видел я образчики здешнего общества... они производят на меня впечатление французского сада... в котором... хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».

Ей же, в том же возрасте: «...я отнюдь не разделяю мнения тех, которые говорят, будто жизнь есть сон... потому что жизнь моя — я сам, я, который говорит теперь с вами и который может в миг превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто... Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: я! При этой мысли весь мир не что иное, как ком грязи».

Гамлетовский мотив. Ничто великое не рождается на пустом месте. Мотив — это никогда не стыдно. Из века в век передается эстафетная палочка чувства и мысли. Какого чувства и какой мысли — вот в чем вопрос.

Он мог бы повторить вслед за Пушкиным: «...черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом».

Верно, только в России оба и могли родиться.

Шекспировская, байроновская природа тоски близка лермонтовской, а все-таки иная. Тут русское, национальное.

В «Герое нашего времени» читаем:

«В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жалкое воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость... В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге».

Это одно и то же, у Лермонтова и у Печорина.

Часть Лермонтова в том, что он писал. В писание вкладывал силу души. Несчастье Печорина — не знал, куда девать эту силу.

Загадочная книга — «Герой нашего времени». Одна из самых загадочных на земле. Загадки нет в бездарном и неискреннем.

«Не могу понять, — говорил Чехов о «Тамани», — как мог он, будучи мальчиком, сделать это!»

Все ранние наброски и планы Лермонтова пестрят «роковыми» сюжетами, испанскими страстями, драмами крови. Тут — прозрачная, благоуханная, точная документальная проза.

«Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшарскую долину... Со всех сторон горы неспростынные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купанами чинара, желтые обрывы, исчерченные комомнями, а там высоко-высоко золотая

бахрома снегов, а внизу Арава, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полноглаго устья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуею».

Сверкала сама эта проза. А пленительная, ни на что не похожая композиция романа, состоящего из пяти повестей, где все перемешано во времени, но соблюден тайный, сокровенный принцип представления героя — прежде через чужой рассказ, после через показ и, наконец, через исповедь...

Положим, «нормальная» поэтическая одаренность могла подкачать молодому человеку того времени слова, какими писать путешествие и виды, подкачать строй и расположение частей в сочинении.

Так понять «внутреннего человека», совершить художественное открытие типа, от которого начнется новый отчет в отечественной и мировой литературе, — под силу только гению. «История души человеческой... едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...»

Что же это за душа, кто он, «герой времени», чья родолюбивая отчасти просвещает сквозь его имя? Печо-

ВЕЧНАЯ КНИГА

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

ра и Онега — две северные российские реки...

В обыденном сознании иногда совершается ошибка по отношению к классическим произведениям: кажется, что они всегда были образцом, примером. Полезно припомнить, как оно было на самом деле.

Ко второму изданию романа автор написал сердитое предисловие. Так бывает, когда очень дорогое, выношенное, выстраданное попадает на чужой суд и вызывает неприятие, реакцию раздраженного автора, если ему к тому же 25 лет, может быть и такую: вроде бы отжеваться. «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...»

Пороки пороками, кто ж спорит, но откуда тогда наше горестное сожаление о том, что, по существу, осталось в действительности — об этом уме, об этой наблюдательности, чуткости к красоте?

Когда Лермонтов умер, один из критиков разрешил себе высказаться откровенно. Раньше это было неудобно, а теперь «можно рассуждать хладнокровно»: не надо выдавать роман «за что-нибудь выше маленького ученического эскиза», это «не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвастаться». Жажда деятельности у Печорина? — спрашивал критик. Играл бы в преферанс, приобретал. Приобретение — вот недуг, приобретаемый — вот герой нашего времени...

Фамилия критика была Сенковский. Заурядный журналист. Люди такого рода нередко знают жизнь. И, право, следовало бы похвалить его за его реализм (насчет приобретения как героя времени), если бы не та его внутренняя глухота, о которой все понимаешь, когда думаешь, кто и что им побивается.

Почему же не узнал был Печорин сразу, тотчас? Почему не исчерпан и вызывает споры и поныне?

Известны прототипы персонажей романа, вычислено, какие впечатления легли в основу того или иного эпизода. Но не в этом дело. А в том, что это первый в русской литературе и непревзойденный опыт погружения в собственную душу, правдивый, до дерзости, жесткий самоотчет. Разумеется, тут не дневник, тут литература, и в этом смысле отповедь Лермонтова публике целиком и полностью справедлива. Но что составило литературу? Откуда черпалось?

Есть письмо Лермонтова кунине А. М. Верещагиной, где он излагает сюжет своих поздних отношений с м-ль Сушковой, ранившей когда-то его отроческое сердце. О, какой здесь расчет, какое мшение! И как похоже на грядущего его героя! Но странное дело, что-то почти детское есть в этом самолюбивом пересказе блестяще проведенной им интриги — впечатление, усугубляемое неожиданными строчками: «Не могу выразить, как меня печалит отъезд бабушки... Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною искренне интересовалось...»

Лермонтов, по всей видимости, принадлежал к тем натурам, что подвергают беспощадному самоанализу собственные противоречивые свойства, наставляя на слабостях и пороках и с поразительной небрежностью и едва ли не неведением проходя мимо того, что могло бы радовать.

Он видел Печорина нечуждо, что наблюдал в себе и других, намеренно сосредоточив свет на том, что садило, герзало душу. И в самом деле

вышел портрет поколения, замешанного после 1825 года, странного, двойственного, «лишнего». Но разве русская литература, и именно после Лермонтова, не замешана на том же самоанализе, на исследовании человеческой природы, в том числе собственной, как части, в которой отражается целое! Микроскоп и макроскоп подобны во всем. Опыт Гоголя с «Мертвыми душами», где всякому лицу, по его же признанию, был «отдан» личный недостаток, — первое по времени тому свидетельству. Дальше будут Толстой и Достоевский, и если уж соблюдать литературоведческую, историческую точность, то не из шинели Башмачкина они вышли, а сначала из мундира Печорина.

Были и более поздние критики, к их числу относились вполне умные и достойные люди, как, например, историк В. О. Ключевский, которые не умели и не хотели принять истоков и сути Лермонтова, столь пронзительно сказавшихся в его поэзии и прозе.

В этюде «Грусть», посвященном специально Лермонтову, В. О. Ключевский пишет, что виной всему среда, в которой родился и вырос поэт. Лучи образования, не всегда толково проведенные в эту среду, возбудили, но не направили ее сонной мысли, зато возникли притязания, утонченность вкуса. В результате появилась «та уди-

безвоздушном пространстве. Важна социальная среда. От чего отталкивался, с чем был не согласен, требований какого общества не принимал «утонченный» Лермонтов? От чего отталкивается, с чем не согласен, требований какого общества не принимает Печорин? Не тут ли гвоздь вопроса? Не тут ли надо искать объективной ценности сказанного Лермонтовым о герое своего времени? Вспомните знаменитые слова Белинского, адресованные моралистам, осуждавшим Печорина: «Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них. Вы позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат; но, как пошлину за право торговли, требуете от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и действовать и как он в самом-то деле и не думает и не действует...»

Рассматривая процесс самопознания, Белинский высказывает соображение о рефлексии — основном качестве Печорина: «Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни — в чувстве, но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться... В мысли — независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений... Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством... он не может быть чужд рефлексии».

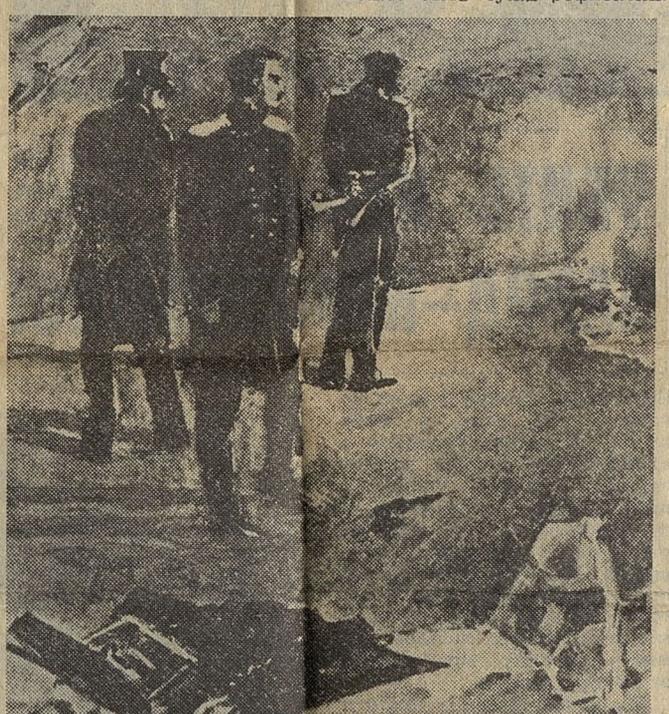


Рисунок М. ВРУБЕЛЯ.

вительная культура сердца, которая утонченностью и неуверенностью воспитанных ею чувств, соединенных с крайне неустойчивой нервной и моральной системой, так напоминает старинную барскую теплицу... Редко платят такую тяжелую дань предрасудкам и порокам своей среды, какую заплатил Лермонтов...

Позиция на первый взгляд может показаться убедительной, особенно если провести прямую параллель между Лермонтовым и созданным им образом Печорина. Вот только правомочна ли такая прямизна? А «утонченность» и «неуверенность» «культуры сердца» — разве не из той же среды Пушкин, Герцен, другие лучшие люди России XIX века? И потом, смотрите, десятки лет прошли, а «неуверенность» не отмирает.

Я еще раз обращаю к сочинению Елены Гусковой. «Мой почерк не изменился... Движениями руки перо не выразило боли души моей...»

Не просто стилистика — стиль мышления, характер оказались знаками внутри. Высота душевной культуры современной школьницы ничуть не меньше той, прежней.

Новейшие социально-психологические исследования спокойно и объективно толкуют тип индивидуальности, в котором угадывается открытие Лермонтова, связывая его свойства со степенью автономии личности. Люди, характеризующиеся высокой степенью автономии, пишут ученые, склонны сохранять вежливую дистанцию между собой и другими. Они, по большей части, осмотрительны в том, что делают. Самосознание, выработанное ими, — способ защиты от импульсивности, облегчающий подавление естественных реакций, бывших для них причиной муки в силу тех или иных обстоятельств. Лица, «направляемые изнутри», отделены от других, слержаны, поступают по-своему. Однако, чем более разьединенными делаются люди, тем меньше обязанности сохраняют они по отношению к другим. Иногда, особенно в критических ситуациях, «автономные личности» могут казаться расчетливыми и холодными, хотя на самом деле они нервны и эмоциональны.

Не правда ли, как похоже на случаи Печорина?

Вероятно, дело не в том, что одни, не развившиеся или не развивающиеся в сторону «тонких чувств», остались «хорошими», а другие, развившиеся, сделались «дурными». Дело в индивидуальной затратке. Но в виде людей живут не в

Исключения остаются только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересам духа и чужды жизни — апатическая дремота».

В русской классике читатель, особенно молодой, всегда находил для себя не только эстетическое удовольствие. Русская литература была и остается кафедрой, с которой провозглашается новая, смелая мысль о бытии.

Лермонтов в «Герое нашего времени» показал, насколько глубоко и честно можно заглянуть в собственную душу, как жизнь отдельного человека согласуется с жизнью общества, в чем их обязанность и долг по отношению друг к другу. Все это и сегодня вопросы не праздные. И сегодня всякий думающий, развивающийся молодой человек так или иначе неизбежно включает в свой духовный опыт опыт лермонтовского героя. Ибо «личный» материал оказался переплавленным в романе в материал высокого философского звучания. Поколения, читая «Героя нашего времени», задумываются о категориях добра и зла, свободы воли и необходимости, о содержании человеческой жизни, которое бывает трагически скудным, если не к чему оказалось приложить и незаурядный ум, и незаурядную душу.

...И последнее сочинение, в стихах. Ее написала шестнадцатилетняя Оля Володина из Хабаровска. Оно обращено к Лермонтову. В этих стихах он еще юноша, его слава разразится завтра.

Мой лобастый мальчик,
мой Лермонтов,
мой гусар, мой поручик,
мой фат,
ах, хватило бы только нервов
не считать, в чем ты виноват.
Ах, хватило бы только терпенья,
слабых тоненьких,
девичьих жил
необъявленного гения,
полюбив поддержать,
чтоб жил.

Поддержать надежной надеждою,
верой верною, святой свят,
холод подледом, невендою
чтоб до времени не был слят.
Ах еще вот о нем.

о времени,
чтоб совпало, чтоб наше,
и в нем
было нашему роду-племени
по себе и светло, как днем.
Милый мой

что из вечных мальчиков,
со знакомою детской душой,
мой брат, мой брат,
мой младшенький,

знай одно: ты уже больший,
Ты больший,
и больше не надо,
ах не надо, моля скорбя,
наказание и награда —
защипать тебя от тебя...

Имени оказалось довольно.
Откройте же роман.

«Я ехал на перекладных из Тифлиса...»

О. КУЧКИНА.